



РОБЕРТ ЛУИС

СТИВЕНСОН

*СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ классика (АСТ)

Роберт Льюис Стивенсон

**Странная история
доктора Джекила и
мистера Хайда (сборник)**

«ФТМ»

«АСТ»

2016

УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)-44

Стивенсон Р.

Странная история доктора Джекила и мистера Хайда (сборник)
/ Р. Стивенсон — «ФТМ», «АСТ», 2016 — (Эксклюзивная
классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-099714-5

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» – классика «литературы ужасов», произведение, популярность которого со временем лишь возрастает. Небольшая повесть о викторианском ученом, поставившем над собой дерзкий и опасный эксперимент и тем самым выпустившем на волю из глубин подсознания свое темное «я» – зловещего негодяя и убийцу мистера Хайда, – по-прежнему будоражит умы и сердца, не оставляя равнодушным ни одного читателя. В этот сборник также вошли другие повести и рассказы автора: «Остров Голосов», «Маркхейм», «Окаянная Дженет», «Олалла», «Веселые Молодцы», «Сатанинская бутылка».

УДК 821.111-3
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-099714-5

© Стивенсон Р., 2016
© ФТМ, 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Вилли с мельницы	6
Равнина и звезды	6
Пасторова Марджори	11
Смерть	17
Окаянная Дженет	21
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Роберт Стивенсон

Странная история доктора Джекила и мистера Хайда

Robert Louis Stevenson

STRANGE CASE OF DR. JEKYL AND MR. HYDE

© Перевод. Н. Л. Дарузес, наследники, 2016

© Перевод. И. Г. Гурова, наследники, 2016

© Перевод. Н. А. Волжина, наследники, 2016

© Перевод. М. Д. Литвинова, 2016

© Перевод. Т. А. Озерская, наследники, 2016 Школа перевода В. Баканова, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Вилли с мельницы

Равнина и звезды

Мельница, где жил Вилли со своими приемными родителями, стояла на склоне долины, среди сосновых лесов и горных вершин. Горы громоздились над мельницей, взмывали вверх из чащи темного леса и, обнаженные, рисовались на фоне неба. Высоко на лесистом склоне лежала длинная серая деревня, подобная шву или полосе тумана, а при ветре с гор звон церковных колоколов капля по капле доходил и до Вилли, тоненький и серебристый. Ниже долина становилась все круче и круче, в то же время расширяясь в обе стороны; и с пригорка возле мельницы можно было видеть ее во всю длину, а за ней – широкую равнину, где река изгибалась, сверкала и текла от города к городу, направляясь к морю. Выше лежал переход в соседнее государство, и, как ни была тиха эта сельская местность, дорога, пролежавшая рядом с рекой, была оживленным средством сообщения между двумя блестящими и могущественными обществами. Все лето дорожные экипажи взбирались в гору или быстро мчались вниз мимо мельницы, но другой склон был гораздо легче для подъема, так что по этой тропе редко кто ездил, и из каждых шести карет, какие проезжали мимо Вилли, пять быстро мчались вниз по склону и только шестая ползла вверх. Еще чаще так бывало с пешеходами. Все туристы, путешествовавшие налегке, все бродячие торговцы, нагруженные заморскими товарами, направлялись вниз, подобно реке, сопровождавшей их по пути. И это не все: когда Вилли был еще ребенком, губительная война охватила почти весь мир. Газеты были полны вестей о поражениях и победах, земля дрожала от топота конницы, а иногда целыми днями и на много миль в окрестности шум битвы спугивал добрых людей, работавших в поле. Долгое время ни о чем этом не слышно было в долине, но под конец один из военачальников провел свою армию через горный перевал форсированным маршем, и в течение трех дней кавалерия и пехота, пушки и двуколки, барабаны и знамена потоком лились мимо мельницы вниз с горы. Весь день мальчик стоял и смотрел на проходящие мимо войска: мерный шаг, бледные, давно не бритые лица, загорелые скулы, полинялые мундиры и рваные знамена заражали его чувством усталости, вызывая жалость и удивление; и всю ночь напролет, когда он уже лежал в постели, ему слышно было громохание пушек и топот ног, движение большой армии вперед и вниз мимо мельницы. Никому в долине так и не пришлось ничего услышать о судьбе этой военной экспедиции: в эти тревожные времена сюда не доходили никакие слухи, но Вилли ясно понял одно: что ни один человек не вернулся. Куда же все они исчезли? Куда уходили все туристы и бродячие торговцы с заморскими товарами? Куда девались быстрые кареты с лакеями на запятках? Куда уходила вода реки, вечно стремящаяся вниз и снова приходящая сверху? Даже ветер чаще всего дул сверху вниз, унося с собой увядшие листья осенью. Это казалось ему великим заговором: все одушевленное и неодушевленное устремлялось вниз, быстро и весело устремлялось вниз, и только он один, казалось ему, оставался позади, словно колода при дороге. Иногда он радовался даже тому, что рыбы стоят головой против течения. Они по крайней мере были ему верны, тогда как все остальное мчалось вниз, в неведомый мир.

Однажды вечером он спросил мельника, куда течет река.

– Она течет по долине вниз, – ответил тот, – и вертит колеса многих мельниц: говорят, их больше сотни отсюда до Андердека, – и несколько от этого не устает. А дальше она течет по низине и орошает обширную область, где сеют хлеба, проходит через множество красивых городов (так говорят), где одни-одинешеньки в огромных дворцах живут короли, а перед дворянами у них расхаживают взад и вперед часовые. Она протекает под мостами, а на мостах стоят каменные люди и с любопытной улыбкой засматривают в воду, и живые люди тоже глядят в

воду, опершись локтями на перила. А река течет все дальше и дальше, через болота и пески, пока наконец не впадает в море, где плавают и корабли, что привозят из Индии попугаев и табак. Да, долгий путь лежит перед нею, после того как она с пением перельется через нашу плотину, благослови ее бог!

– А что такое море? – спросил Вилли.

– Море! – воскликнул мельник. – Помилуй нас, боже, это самое великое из того, что сотворил Господь! Ведь это в него течет вся вода, какая только есть на земле, и сливается в большое соленое озеро. Так оно и лежит, ровное, как моя ладонь, и с виду невинное, как младенец; но говорят, что, если задует ветер, на нем поднимаются водяные горы, выше всех наших гор, и они топят большие корабли – куда больше нашей мельницы, и так ревут, что этот рев слышно на суше за много миль от берегов. В нем живут огромные рыбы, впятеро больше быка, а еще древний змий длиной в нашу реку и старый как мир, с усами, словно у человека, и с серебряной короной на голове.

Вилли подумал, что никогда еще не слыхивал ничего похожего, и стал расспрашивать мельника про тот мир, который лежал внизу по берегам реки, со всеми его опасностями и чудесами, а старый мельник оживился и сам и в конце концов взял мальчика за руку и повел на возвышенность, господствовавшую над ущельем и равниной. Солнце близилось к закату и стояло низко на безоблачном небе. Все вокруг было обито золотым сиянием. Вилли еще никогда в жизни не видел такого широкого простора – он стоял и смотрел во все глаза. Ему были видны города, леса и поля, сверкающие изгибы реки и вся даль до той черты, где край равнины сходил с блистающими небесами. Непреодолимое волнение овладело мальчиком, его душой и телом, сердце забилося так сильно, что он не мог дышать, все поплыло у него перед глазами: ему казалось, что солнце крутится колесом и, вращаясь, отбрасывает странные тени, исчезающие с быстротой мысли и сменяющиеся другими. Вилли закрыл лицо руками и разразился бурными рыданиями, а бедняга мельник, страшно растерявшись и встревожившись, не придумал ничего лучше, как взять его на руки и молча унести домой.

Начиная с этого дня мальчик преисполнился новых надежд и стремлений. Что-то все время задевало струны его сердца. Когда он предавался мечтам над стремительной гладью реки, вслед за бегущей водой уносились его желания, ветер, пробегавший по бесчисленным верхушкам деревьев, манил его; ветви кивали ему, словно указывая вниз; открытая дорога, огибая бесчисленные углы и повороты, все быстрее и быстрее спускалась по долине и пропадала из виду, неотступно маня его за собой. Он подолгу сидел на возвышенности, глядя вниз по течению реки и еще дальше, на плоские низины; следил за облаками, странствующими на крыльях медлительного ветра и влачащими лиловые тени по равнине; а не то он застывался у дороги, провожая глазами кареты, с грохотом катившиеся вниз по берегу реки. Что это было – не имело значения; но, что бы ни уходило туда, будь то облако или карета, птица или темная вода потока, сердце его восторженно рвалось вслед за ними.

Ученые люди говорят, будто причина всех приключений моряков, всех переселений племен и народов на суше не что иное, как простой закон спроса и предложения и вполне естественный инстинкт, который ищет более дешевой жизни. Всякому, кто способен вдуматься глубже, это объяснение покажется жалким и неумным. Племена, пришедшие толпами с Севера и Востока, если их и вправду гнали вперед другие племена, наступавшие сзади, испытывали в то же время магнетическое влияние Юга и Запада. Слава иных стран дошла до них; имя вечного города звучало в их ушах, они были не колонизаторы, а пилигримы; они влеклись к вину, золоту и солнцу, но сердца их искали чего-то высшего. Это божественное беспокойство, эта древняя жгучая тревога человечества, создавшая все высокие достижения и все горестные неудачи, та, что расправляла крылья вместе с Икаром, та, что послала Колумба в пустыню Атлантического океана, – она же вдохновляла и поддерживала варваров в их опасном походе. Есть одна легенда, глубоко выражающая дух пилигримов, – легенда о том, как летучий отряд

этих странников повстречал дряхлого старика, обутого в железные башмаки. Старик спросил, куда они идут, и ему дружно ответили: «В Вечный город!» Он посмотрел на них строгим взглядом:

– Я искал его по всему свету. Три пары таких башмаков, какие и сейчас на мне, я износил в этих странствиях, и теперь четвертая изнашивается на моих ногах. И за все это время я так и не нашел Вечного города.

Он повернулся и один побрел своей дорогой, они же стояли в изумлении.

И все же эта легенда едва ли могла сравниться для Вилли с силой его стремления к равнине. Если б он только мог спуститься туда и зайти подальше, его зрение, казалось ему, очистилось бы и прояснилось, слух обострился бы, и даже дышать стало бы для него наслаждением. Здесь он захирел, как пересаженное растение: он жил на чужбине и тосковал по родине. Мало-помалу он собрал обрывочные сведения о мире, простиравшемся внизу; о реке, вечно движущейся и становившейся все шире и наконец вливавшейся в величавый океан; о городах, где много прекрасных людей, журчащих водометов, оркестров и мраморных дворцов, где целыми ночами горят от края до края искусственные золотые звезды; о больших церквах; о полных премудрости университетах; о доблестных войсках и несчетных сокровищах, нагроможденных в подвалах; о надменном пороке, не боящемся дневного света; о молниеносной быстроте полуночных убийств. Я уже говорил, что он тосковал, словно по родине – это сравнение остается в силе. Он походил на человека, пребывающего в расплывчатых сумерках, в преддверии бытия и простирающего руки к многоцветной и многозвучной жизни. Не удивительно, что он несчастлив, говорил он, бывало, рыбам: рыбы созданы для такой жизни, им ничего не надо, кроме червяков, и быстротекущей воды, да норы под осыпающимся берегом; но он устроен по-другому, полон желаний и надежд, руки у него чешутся, глаза разбегаются, и одним лицезрением пестроты этого мира он довольствоваться не может. Настоящая жизнь, настоящее яркое солнце – далеко внизу, на равнине. О, если б увидеть этот солнечный свет хотя бы раз; ликуя, пройти по золотой стране; услышать искусных певцов и мелодичный звон церковного колокола; увидеть праздничные сады!

«И, о рыбы! – восклицал он. – Если б вы только могли повернуть носы вниз по течению, вам легко было бы доплыть до тех сказочных вод, и увидеть, как большие корабли проходят у вас над головой, подобно облакам, и весь день слышать музыку водяных громад, гремющую над вами». Но рыбы по-прежнему терпеливо глядели в свою сторону, так что в конце концов Вилли сам не знал, плакать ему или смеяться.

До сих пор движение на дороге воспринималось Вилли как нечто увиденное на картине; быть может, он обменивался поклонами с туристами или в окне кареты мельком замечал старика в дорожной фуражке, но по большей части это был просто символ, на который он глядел только со стороны и даже с каким-то суеверным чувством. В конце концов пришло время, когда все это должно было перемениться. Мельник, который был в какой-то мере человек корыстный и никогда не упускал случая нажиться честным образом, превратил мельницу в маленькую придорожную харчевню, а когда несколько удачных случаев помогли ему, построил при ней конюшню и добился места почтмейстера на этой дороге. Теперь обязанностью Вилли было прислуживать людям, когда они садились закусывать в маленькой беседке в саду при мельнице; и можете быть уверены, что, принося им вино или омлет, он внимательно прислушивался к разговорам и узнал многое о мире. Мало того, он даже вступал в разговор с гостями-одиночками и ловкими вопросами и вежливым вниманием не только утолял свое любопытство, но и завоевывал расположение путешественников. Многие поздравляли стариков с таким слугою; а один профессор хотел даже увезти его с собой на равнину и дать ему настоящее образование. Мельник с женой очень этому удивились и еще больше обрадовались. Как хорошо, думалось им, что они открыли такую гостиницу!

– Видите ли, – замечал старик, – у него талант – быть трактирщиком, он просто не мог бы стать кем-то другим!

И так шла эта жизнь в долине, и все живущие в ней были ею очень довольны, – все, кроме Вилли. Каждая карета, отъезжавшая от дверей гостиницы, казалось, увозила с собой какую-то часть его самого, и, когда люди в шутку предлагали подвезти его, он с трудом подавлял волнение. Ночь за ночью ему снился один и тот же сон: встревоженные слуги будят его, и великолепная карета ждет у дверей, чтобы увезти его на равнину, – ночь за ночью, пока этот сон, сначала казавшийся ему светлым и радостным, не начинал омрачаться и ночной зов и приехавшая за ним карета не становились чем-то таким, чего надо было и страшиться и ждать с надеждой.

Однажды, когда Вилли было лет шестнадцать, на закате солнца в харчевню приехал толстый молодой человек и остался ночевать. Вид у него был довольный, глаза веселые, за спиной висел рюкзак. Пока готовили обед, он уселся в беседке читать книжку, но, как только заметил Вилли, отложил книгу в сторону; он был явно из тех, которые предпочитают живых собеседников бумаге и чернилам. Вилли, со своей стороны, хотя и не слишком заинтересовался путником с первого взгляда, скоро испытал немалое удовольствие от его речей, доброжелательных и полных здравого смысла, а под конец почувствовал и уважение к его характеру и учености. Они просидели далеко за полночь, и около двух часов утра Вилли открыл молодому человеку свое сердце и рассказал, как ему хочется уйти из долины и какие пылкие надежды связаны у него с городами на равнине. Молодой человек свистнул и заулыбался.

– Мой юный друг, – заметил он, – ты, конечно, очень занятный человек и хочешь очень многого такого, чего никогда не получишь. Да ведь тебе стало бы попросту стыдно, если б ты знал, как мальчики в этих твоих сказочных городах гонятся за тем же вздором, что и ты, и стремятся в горы, надрывая из-за этого сердце. И позволь мне сказать тебе: тому, кто попадет на равнину, очень скоро захочется снова вернуться в горы. Воздух там не такой легкий и чистый, как здесь, – и солнце там не ярче. А твои красивые люди, мужчины и женщины, как ты сам увидишь, ходят в отрепьях, а многие из них изуродованы ужасными болезнями; и в городе так нелегко жить людям бедным и слишком чувствительным, что многие предпочитают покончить с собой.

– Вы, должно быть, считаете меня простаком, – отвечал ему Вилли. – Хотя я не бывал нигде, кроме нашей долины, поверьте мне, я вовсе не слеп. Я знаю, что одни твари живут на счет других: рыбы, например, подстерегают в заводи себе подобных, а пастух, который так живописно несет домой ягненка, только для того и несет его, чтобы зарезать на обед. Я вовсе не думаю, что в ваших городах все окажется хорошо и правильно. Не это меня смущает: может, так и было когда-нибудь, но я, хоть и прожил здесь всю свою жизнь, о многом расспрашивал и многое узнал за последние годы – узнал довольно, чтобы излечиться от моих прежних фантазий. Но вы же не хотите, чтоб я издох как собака, не увидев всего, что нужно увидеть, не сделав всего, что человеку должно сделать, будь то хорошее или дурное? Вы не хотите, чтоб я провел всю жизнь здесь, между этой вот дорогой и рекой, даже не сделав попытки воспрянуть духом и начать жить? Лучше покончить с собой, чем и дальше топтаться на месте, как сейчас! – воскликнул он.

– Тысячи людей живут этой жизнью, как и ты, и обычно они бывают счастливы, – заметил молодой человек.

– Ах! – сказал Вилли. – Если желающих так много, то почему бы одному из них не занять мое место?

Стало совсем темно; в беседке висела лампа, освещающая стол и лица собеседников, и по всему своду беседки листья, облитые светом, выделялись на ночном небе узором прозрачной зелени на темно-лиловом фоне. Толстый молодой человек встал и, взяв Вилли за плечо, вывел под открытое небо.

– Смотрел ли ты когда-нибудь на звезды? – спросил он, указывая на небо.

– Очень и очень часто, – ответил Вилли.

– А ты знаешь, что такое звезды?

– Я их представляю по-разному.

– Это миры, такие же, как наш, – сказал молодой человек. – Одни из них меньше нашего, другие – в миллион раз больше; а некоторые из крохотных искорок, едва видных тебе, не только миры, но целые рои миров, кружащихся в пространстве один вокруг другого. Мы не знаем, что там; может быть, там есть и ответ на все наши неразрешенные вопросы или средство избавиться нас от страданий, однако нам никогда до них не добраться; никакое искусство первейших умельцев не сможет снарядить и отправить корабль к ближайшему из наших спутников, да и жизни самых долговечных из нас не хватит на такое путешествие. Проиграно ли большое сражение, умер ли наш лучший друг, погружены ли мы в уныние или торжествуем, они все так же неутомимо сияют над нами. Мы можем стоять здесь внизу, собравшись хоть целой толпой, и кричать, покуда не разорвется сердце, а до них все же не дойдет ни звука. Мы можем взобраться на самую высокую гору – и все-таки не станем к ним ближе. Все, что нам доступно, – это стоять здесь, в саду, сняв шляпу; звездное сияние льется на наши головы, и там, где у меня небольшая лысина, ты, я думаю, можешь заметить светлое пятно в темноте. Гора и мышь. Это, кажется, все, что у нас есть или будет общего с Арктуром или Альдебараном. Понятна ли тебе эта притча? – прибавил он, кладя руку на плечо Вилли. – Это не то же, что довод, но обычно действует гораздо убедительнее.

Вилли сначала повесил было голову, потом снова поднял ее к небесам. Звезды казались теперь как будто крупнее, лучи их – острее и ярче; а когда он вглядывался все пристальнее и пристальнее в вышину, то их число словно множилось под его взглядом.

– Я понимаю, – сказал он, оборачиваясь к молодому человеку. – Мы словно в мышеловке.

– Да, похоже на это. Видел ты, как одна белка крутится в колесе, а другая сидит и философски грызет орехи? Нечего и спрашивать, которая из них покажется тебе глупее.

Пасторова Марджори

Через несколько лет старики умерли, оба в одну и ту же зиму; приемный сын очень заботливо ухаживал за ними и очень тихо горевал о них, когда их не стало. Люди, знавшие о его тяге к путешествиям, думали, что он поспешит продать все имущество и пустится вниз по реке на поиски счастья. Но он ничем не проявил такого намерения. Напротив, он ввел кое-какие улучшения в гостинице, нанял двоих слуг себе в помощники и зажил хозяином – любезный, разговорчивый и непонятный молодой человек, шести с лишком футов ростом, с железным здоровьем и приветливым голосом. В скором времени он начал приобретать славу какого-то чудака; удивляться этому не стоило, ведь и всегда у него были странные понятия и сомневался он даже в самых обычных вещах; но всего больше пошло о нем разговоров из-за пасторовой Марджори, за которой он ухаживал.

Пасторова Марджори была девушка лет девятнадцати, в то время как Вилли было уже под тридцать; довольно хорошенькая и гораздо лучше воспитанная, чем другие девушки в этой части страны, как ей и подобало по происхождению. Она держала себя очень гордо и успела уже с надменностью отказать нескольким женихам, за что соседи ее строго осудили. При всем том она была хорошая девушка, такая, которая могла осчастливить любого мужчину.

Вилли очень редко с ней виделся; хотя церковь и пасторский дом стояли всего в двух милях от его усадьбы, он ходил туда только по воскресеньям. Случилось, однако, что пасторский дом обветшал, и его понадобилось переделывать и ремонтировать, а пастор с дочкой сняли на месяц или около того помещение в гостинице Вилли за весьма умеренную плату. Наш друг был теперь человек состоятельный; у него была гостиница, мельница да сбережения старого мельника; кроме того, он славился хорошим, ровным характером и практическим умом, что в браке значит немало; и недоброжелатели стали судачить, что пастор с дочкой знали, что делали, выбирая себе временное жилье. Вилли был вовсе не такой человек, чтоб его можно было заманить или запугать и заставить жениться. Стоило только взглянуть ему в глаза, прозрачные и спокойные, словно озера, и все же светившиеся изнутри ясным светом, и сразу становилось понятно, что перед вами человек, который знает, чего хочет, и будет твердо стоять на своем.

Марджори и сама была отнюдь не робкого десятка, с уверенным, твердым взглядом и решительными, спокойными манерами. В конце концов было неизвестно, у кого тверже характер и кто из них в супружестве станет верховодить. Но Марджори даже и не задумывалась об этом, а сопутствовала отцу без всякой задней мысли. Сезон еще только начинался, и гости к Вилли наезжали редко, но сирень уже цвела, а погода стояла такая мягкая, что обедали в беседке, и река шумела у них в ушах, и леса вокруг звенели птичьими песнями. Вилли вскоре начал испытывать особое удовольствие от таких обедов. Пастор был довольно скучным собеседником, имея привычку дремать за столом; но от него нельзя было услышать грубого или недоброго слова. А что до пасторской дочки, то она применилась к новой обстановке с таким тактом, какой только можно вообразить, и все, что она говорила, было так мило и кстати, что Вилли возымел самое лестное мнение о ее талантах. Когда она наклонялась вперед, он видел ее лицо на фоне соснового леса, глаза ее тихо сияли, свет, словно вуалью, окружал ее волосы, ямочки на бледных щеках создавали некое подобие улыбки, и Вилли не мог не заглядываться на нее в приятном смущении. Даже в самые спокойные свои минуты она казалась такой цельной и полной жизни до кончиков пальцев, что все остальные выглядели по сравнению с ней просто неживыми; и если Вилли, отводя от нее глаза, взглядывал на все, что ее окружало, деревья казались ему неодушевленными и бесчувственными, облака висели в небе как мертвые и даже вершины гор теряли свое очарование. Вся долина не могла выдержать сравнения с этой одной девушкой.

В обществе себе подобных Вилли всегда бывал наблюдателен, но его наблюдательность обострялась почти болезненно в присутствии Марджори. Он вслушивался в каждое ее слово и старался прочесть в ее глазах то, что оставалось невысказанным. Много простых, добрых и искренних слов находили отклик в ее сердце. Он начинал понимать, что перед ним душа, прекрасная в своей уравновешенности, не ведающая ни сомнений, ни желаний, облеченная в спокойствие. Невозможно было отделить ее внутренний мир от ее внешности. Движение руки, тихий голос, свет ее глаз, линии тела звучали согласно с ее серьезной и кроткой речью, словно аккомпанемент, который поддерживает голос певца и гармонически сливается с ним. Ее влияние следовало воспринимать как нечто единое, благодарно и радостно, не судя и не анализируя. Ее облик напоминал Вилли что-то из времен детства, а мысль о ней становилась в один ряд с мыслью об утренней заре, о журчащей воде, о ранних фиалках и сирени. Таково свойство вещей, увиденных впервые или впервые после долгого забвения, как цветы весной, – пробуждать в нас остроту чувств и то впечатление таинственной новизны, которое без этого с годами уходит; но созерцание любимого лица – вот что обновляет человека, возвращая его к истокам жизни.

Однажды после обеда Вилли прогуливался среди сосен; сосредоточенное блаженство охватило все его существо; прогуливаясь, он улыбался сам себе и окружающей его природе. Река бежала среди камней с мелодичным журчанием; какая-то птица громко пела в лесу, вершины гор казались неизмеримо высокими, и, когда он время от времени взглядывал на них, они как будто следили за его движениями с доброжелательным, но грозным любопытством. Путь его вел к той возвышенности, которая царила над равниной; там он сел на камень и погрузился в глубокое и приятное раздумье. Равнина уходила вдаль со всеми своими городами и серебряной рекой; все погрузилось в сон, кроме стаи птиц, которые, то поднимаясь, то падая, вихрем кружились в воздушной синеве. Вилли громко произнес имя Марджори, и оно прозвучало, лаская его слух. Он закрыл глаза, и ее образ возник перед ним, светозарно спокойный и овеянный добрыми мыслями. Река могла струиться вечно, птицы – подниматься все выше и выше, пока не достигнут звезд. Он понимал, что все это – в конце концов пустая суэта, ибо здесь, не сделав ни шагу, терпеливо поджидая в своей тесной долине, он тоже дождался и его озарило иное, лучшее солнце.

На следующий день – пока пастор набивал свою трубку, Вилли произнес через стол нечто вроде объяснения в любви.

– Мисс Марджори, – сказал он, – я еще не знал девушки, которая бы мне нравилась так, как вы. Я человек скорее холодный и не очень любезный, но это не от бессердечия, а оттого, что я думаю обо всем по-своему; и мне кажется, что люди далеки от меня. Я словно отгорожен от них каким-то кругом, и в нем нет больше никого, кроме вас; я слышу, как говорят и смеются другие, но только вы одна подходите близко. Может быть, это вам неприятно? – спросил он.

Марджори ничего не ответила.

– Говори же, девочка, – сказал пастор.

– Нет, зачем же, – возразил Вилли. – Я бы не хотел торопить ее, пастор. Сам я чувствую, что язык у меня связан – я не привык говорить, – а она женщина, почти ребенок, если уж на то пошло. А мне, насколько я понимаю, что под этим подразумевают другие, мне кажется, что я влюблен. Мне не хотелось бы, чтобы меня считали женихом; я еще, может, и ошибаюсь; но мне все-таки кажется, что я влюблен. А если мисс Марджори не чувствует того же, то не будет ли она любезна хоть покачать головой?

Марджори молчала и не подавала никакого знака, что она это слышала.

– Ну, так как, по-вашему, пастор? – спросил Вилли.

– Девочка должна сама ответить, – сказал пастор, кладя трубку на стол. – Вот наш сосед говорит, что любит тебя, Мэдж. А ты любишь его? Да или нет?

– Я думаю, что да, – едва слышно ответила Марджори.

– Ну что ж, большего и желать нечего! – воскликнул Вилли от всего сердца. И он через стол притянул к себе ее руку и удовлетворенно сжал обеими руками.

– Вам следует пожениться, – заметил пастор, снова беря трубку в рот.

– Вы думаете, это будет правильно? – спросил Вилли.

– Это необходимо, – сказал пастор.

– Очень хорошо, – отвечивал поклонник.

Прошло два или три дня в великой радости для Вилли, хотя наблюдатель со стороны вряд ли это заметил бы. Вилли все так же сидел за обедом напротив Марджори, разговаривал с ней и глядел на нее в присутствии ее отца, но не пытался ни увидеться с ней наедине, ни изменить хоть в чем-нибудь свое поведение против того, каким оно было с самого начала. Возможно, девушка была слегка разочарована, и, возможно, не без основания; а между тем, если б было достаточно одного того, чтобы постоянно присутствовать в мыслях другого человека и тем самым изменить и наполнить всю его жизнь, то Марджори могла быть довольна. Ибо мысль о ней ни на минуту не покидала Вилли. Он сидел над рекой, глядя на водяную пыль, на стоящую против течения рыбу, на колеблемые течением водоросли; он бродил один в лиловых сумерках, и все черные дрозды в лесу распевали вокруг него; он вставал рано утром и видел, как небо из серого становится золотым и свет заливает вершины гор; и все это время он дивился, отчего не замечал ничего этого раньше и отчего теперь все кажется ему совершенно иным. Шум его собственного мельничного колеса или шум ветра в ветвях деревьев тревожил и чаровал его сердце. Самые пленительные мысли непрощено вторгались в его душу. Он был так счастлив, что не мог спать по ночам, и так взволнован, что без Марджори не мог усидеть на месте ни минуты. Но все же казалось, что он скорее избегает ее общества, чем ищет его.

Однажды днем, когда Вилли возвращался с прогулки, Марджори была в саду и рвала цветы; поравнявшись с ней, он замедлил шаг и пошел рядом.

– Вы любите цветы? – спросил он.

– Да, я очень их люблю, – ответила Марджори. – А вы?

– Нет, не очень, – произнес он. – Как подумаешь, это такая малость в конце концов. Я могу понять, что люди любят цветы, но не понимаю, когда поступают так, как вы сейчас.

– То есть как это? – спросила она, останавливаясь и глядя на него.

– Когда рвут цветы, – сказал он. – Им гораздо лучше там, где они растут, и выглядят они куда красивее, если хотите знать.

– Мне хочется, чтобы они стали моими, – ответила она, – прижать к сердцу, держать у себя в комнате. Они меня искушают; они как будто говорят: «Приди и возьми нас», – но как только я сорву их и поставлю в воду, все волшебство пропадает, и я уже смотрю на них спокойно.

– Вы хотите обладать ими, – возразил Вилли, – для того чтобы больше о них не думать. Все равно что разрезать гусыню, несущую золотые яйца. Похоже на то, чего и мне хотелось, когда я был мальчишкой. Оттого, что я любил смотреть на равнину, мне хотелось туда спуститься – а ведь оттуда я уже не мог бы на нее смотреть. Правда, хорошо рассуждал? Боже, боже, если б только люди подумали, они все поступали бы, как я: и вы бы оставили в покое свои цветы, как и я остался здесь в горах. – И вдруг он резко оборвал свою речь. – Вот ей-богу! – воскликнул он. Когда же она спросила его, в чем дело, он уклонился и не ответил ей, а вернулся в комнаты с довольным выражением лица.

За столом он молчал, а после того как спустилась тьма и звезды засияли в небе, он несколько часов ходил по двору и саду неровными шагами. В окне Марджори еще горел свет; маленький оранжевый овал в мире темно-синих гор и серебряного звездного света. Мысли Вилли все возвращались к этому окну, но не были похожи на мысли влюбленного. «Она здесь, в своей комнате, – думал он, – а звезды там, в небе, – благословение божье да будет над ней и над ними!» И она и они благотворно влияли на его жизнь, утешали его и поддерживали его

глубокое удовлетворение окружающим миром. Чего же больше мог он желать от нее и от них? Толстый молодой человек со своими советами был так близок его душе, что он запрокинул голову и, приложив руки ко рту, громко крикнул в полное звезд небо. То ли от запрокинутой головы, то ли от резкого усилия ему показалось, что звезды словно дрогнули на мгновение и от одной к другой по всему небу раскинулись ледяные лучи. В тот же миг один уголок занавески в окне приподнялся и сразу же упал. Он громко рассмеялся: «Хо-хо!» «И она и звезды?» – подумал Вилли.

«Звезды задрожали, и занавеска поднялась. Должно быть, я великий чародей, ей-богу! Если бы я был просто дурак, хорош бы я был!» И он отправился ко сну, посмеиваясь про себя: «Если бы я был просто дурак!»

На следующее утро, очень рано, он снова увидел Марджори в саду и подошел к ней.

– Я думал о том, надо ли нам жениться, – сразу начал он, – и, обдумав все как следует, решил, что не стоит.

Она взглянула было на него, но его сияющее, добродушное лицо в такую минуту смутило бы и ангела, и она молча потупилась. Он видел, что она задрожала.

– Я надеюсь, вы не обидитесь, – продолжал он, слегка растерявшись. – Не надо. Я уже все обдумал, и, честное слово, нестоящее это дело. Мы никогда не будем ближе, чем сейчас, и, если я хоть что-нибудь смыслю, мы никогда не будем так счастливы.

– Со мной нет надобности ходить вокруг да около, – сказала Марджори. – Я хорошо помню, что вы отказались связать себя; а теперь я вижу, что вы ошиблись и никогда меня не любили; мне жаль только, что я была введена в заблуждение.

– Простите, – сказал Вилли твердо, – но вы не хотите меня понять. Любил я вас или нет, это пусть судят другие. Но, во-первых, мое чувство к вам не изменилось, а во-вторых, вы можете гордиться тем, что изменили всю мою жизнь и меня самого. Я говорю, что думаю, – не более и не менее. Мне кажется, что нам не стоит жениться. По-моему, лучше, если вы по-прежнему станете жить с вашим отцом так, чтобы я мог ходить к вам, как люди ходят в церковь, и видеть вас хотя бы раз или два в неделю, и тогда мы чувствовали бы себя счастливее между свиданиями. Вот мое мнение. Но, если вы хотите, я на вас женюсь, – добавил он.

– Вы понимаете, что оскорбили меня? – не выдержала она.

– Нет, Марджори, нет, – сказал он, – если только чистая совесть что-нибудь значит, – нет. Я отдаю вам лучшие чувства моего сердца, в вашей власти принять их или отвергнуть, хотя мне кажется, что ни в вашей и ни в моей власти изменить то, что произошло, и вернуть мне свободу. Я женюсь на вас, если хотите, но повторяю вам, что это не стоит делать и лучше нам остаться друзьями. Хоть я человек тихий, но многое видел в своей жизни. Поверьте же мне и примите это так, как я вам предлагаю; или же, если не хотите, скажите слово, и я сейчас же на вас женюсь.

Наступило долгое молчание, и Вилли, который начал чувствовать себя неловко, начал поэтому и сердиться.

– Кажется, вы слишком горды, чтобы высказаться, – продолжал он. – Поверьте, это очень тяжело. Проще жить, если ты откровенен до конца. Разве может мужчина относиться к женщине более честно и прямо, нежели я? Я сказал свое слово, а выбор предоставляю вам. Хотите ли вы стать моей женой? Или примете мою дружбу, что мне кажется лучше? Или же я вам больше не нужен? Откройтесь, бога ради! Ведь ваш отец говорил вам, что девушка в этих делах должна высказать свое мнение.

Тут она словно пришла в себя, повернулась и, не говоря ни слова, быстро прошла через сад и скрылась в доме, оставив Вилли в некотором недоумении. Он расхаживал взад и вперед по саду, тихо насвистывая. Иногда он останавливался и созерцал небо и вершины гор; иногда подходил к концу плотины и садился там, бессмысленно уставившись в воду. Все эти колебания и волнения были так чужды его натуре и той жизни, которую он сознательно избрал для себя,

что он пожалел было о приезде Марджори. «В конце концов, – думал он, – я был счастлив, насколько можно желать. Я приходил сюда и весь день глядел на моих рыб, если хотел; я был спокоен и доволен жизнью, как моя старая мельница».

Марджори сошла вниз к обеду очень подобранная и спокойная и, как только все трое уселись за стол, обратилась к отцу, опустив глаза и глядя в тарелку, однако не выказывая никаких иных признаков смущения и тревоги.

– Отец, – начала она, – мы с Вилли переговорили обо всем. Мы поняли, что оба ошибались в своих чувствах, и он согласился по моей просьбе оставить всякую мысль о браке со мной и быть мне не больше чем хорошим другом, как и прежде. Ты видишь, что тут нет и тени ссоры, я очень надеюсь, что мы будем часто видеться и его посещения всегда будут нам приятны. Разумеется, тебе виднее, отец, но, быть может, нам лучше теперь уехать от мистера Вилли. Я думаю, после того, что произошло, мы вряд ли будем желанными гостями.

Вилли, который с самого начала едва владел собою, в ответ на ее слова издал какой-то нечленораздельный звук и поднял руку в испуге, словно желая прервать ее и возразить ей. Но она с гневным румянцем на щеках сразу остановила его быстрым взглядом.

– Вы, быть может, будете добры и позволите мне самой объяснить все.

Вилли был совершенно сбит с толку выражением ее лица и тоном голоса. Он смолчал, решив про себя, что в этой девушке много такого, чего он понять не в состоянии – в чем и был совершенно прав.

Бедный пастор совсем приуныл. Он пытался внушить им, что это не более как размолвка истинно влюбленных, которая должна кончиться примирением еще до вечера; а когда его разубедили, принялся доказывать, что раз не было ссоры, то и расходиться не надо, – этому добродушному старику по душе пришлось и здешний стол, и сам хозяин. Любопытно было видеть, как девушка вертит ими обоими; говорила она очень мало, вполголоса и все-таки обвела их вокруг пальца, незаметно направляя туда, куда ей хотелось, с женским тактом руководя ими. Нельзя было почувствовать, что это – дело ее рук, казалось, вышло само собой, что они с отцом выехали в тот же день на фермерской повозке и отправились ниже по долине в другую деревушку дожидаться, пока будет готов их дом. Но Вилли наблюдал за ней пристально и видел всю ее решительность и ловкость. Когда он остался один, ему пришлось долго думать и раздумывать о многих любопытных вещах. Начать с того, что ему было очень грустно и одиноко. Пропал весь его интерес к жизни; он мог смотреть на звезды сколько угодно, но почему-то не находил в них ни поддержки, ни утешения. А кроме того, он переживал такое смятение духа из-за Марджори. Его удивляло и сердило ее поведение, и все же он невольно восхищался им. Вилли думал, что сумел теперь распознать присутствие хитрого и коварного ангела в этой тихой душе, о чем он до сих пор не подозревал; и хотя понимал, что такой характер вряд ли подойдет к налаженному спокойствию его жизни, все же не мог себя пересилить и страстно желал завладеть этой душой. Ему было и больно и радостно, словно человеку, который жил в тени и вдруг попал на солнце.

С течением времени он переходил от одной крайности к другой: то гордился силой своей решимости, то презирал себя за робость и глупую осмотрительность. Первое, возможно, было настоящей его мыслью, идущей из глубины сердца, и являлось истинным содержанием всех его размышлений; но последнее прорывалось время от времени с неожиданной силой, и тогда он забывал об осторожности и расхаживал по дому и по саду или бродил по сосновому лесу, терзаясь поздними сожалениями. Для уравновешенного, спокойного по характеру Вилли такие муки были невыносимы, и он решил положить им конец, чего бы это ни стоило. И вот в один жаркий летний день Вилли надел праздничное платье, взял терновый хлыст и спустился в долину по берегу реки. Как только решение было принято, на сердце у него сразу стало так же легко, как всегда, и он наслаждался ясной погодой и разнообразием видов без всякой примеси тревоги и тягостного волнения. Ему стало почти все равно, чем кончится дело. Если она примет его

предложение, придется на ней жениться, и это, быть может, будет к лучшему. Если же откажет, он все-таки сделал все, что мог, и отныне сможет жить по-своему, со спокойной совестью. Ему скорее хотелось, чтоб она отказала, и все же, завидев, как темная кровля, приютившая Марджори, выглядывает из-под ив на повороте реки, он уже не желал этого и чуть ли не стыдился своей слабости и своих колебаний.

Марджори, казалось, была рада его видеть и сразу же подала ему руку без всякого жеманства и замешательства.

– Я все думал о нашем браке, – начал он.

– Я тоже, – отвечала она. – И я все больше и больше уважаю вас как очень умного человека. Вы поняли меня лучше, чем я сама себя; и теперь я вполне уверена, что надо оставить все так, как есть.

– И в то же время... – отважился было Вилли.

– Вы, должно быть, устали, – прервала она его. – Садитесь, я принесу вам стакан вина. День такой жаркий, а я не хочу, чтобы вы ушли от нас без угощения. Приходите к нам почаще, если найдется время, – я всегда очень рада видеть своих друзей.

«Что ж, очень хорошо, – подумал Вилли. – Кажется, я был прав».

Он очень приятно провел время в гостях, ушел домой в превосходном настроении и больше не беспокоился на этот счет.

Почти три года Вилли и Марджори все так же продолжали видеться дважды в неделю и без единого слова о любви, и я думаю, что все это время Вилли был настолько счастлив, насколько может быть счастлив человек. Он лишь изредка позволял себе видеться с Марджори, а чаще проходил полдороги до пасторского дома и поворачивал обратно, как будто для того, чтобы еще больше захотелось ее видеть. И был там такой уголок дороги, откуда видно было церковную колокольню, вклинившуюся в ущелье между поросшими еловым лесом склонами с треугольником равнины на заднем плане, где он очень полюбил сидеть и раздумывать перед возвращением домой; а крестьяне так привыкли видеть его там в сумерки, что этому месту дали прозвище: «Уголок Вилли с мельницы».

Не прошло еще и трех лет, как Марджори сделала ему сюрприз: взяла да и вышла замуж за другого. Вилли держался молодцом, не подал и виду, заметил только, что, как ни мало он знает женщин, он поступил разумно, что не женился на ней три года назад. Ясно, что она сама не знает, чего хочет, и хоть ее поведение может ввести в заблуждение, она так же непостоянна и переменчива, как и все прочие. Он говорил, что ему остается разве только поздравить себя с благополучным исходом дела и отныне он будет гораздо лучшего мнения о собственной проныцательности. Но в душе Вилли сильно огорчился, очень хандрил месяца два и даже похудел, к удивлению окружающих.

Прошел, быть может, год после замужества Марджори, когда однажды поздней ночью Вилли разбудили конский топот на дороге и торопливый стук в дверь гостиницы. Отворив окно, он увидел верхового с фермы, державшего на поводу вторую лошадь; тот сказал, чтоб он собирался как можно скорей и ехал вместе с ним; Марджори умирает и срочно прислала за ним, требуя его к своему смертному ложу. Вилли совсем не умел ездить верхом и ехал так медленно, что бедная молодая женщина была уже при смерти, когда он приехал. Но они все же поговорили несколько минут с глазу на глаз, и, когда она испустила последнее дыхание, он был при ней и плакал горько.

Смерть

Год за годом уходили в небытие с великими волнениями и смутами в городах на равнине; вспыхивали кровавые бунты, и их топили в крови; в битвах одолевала то одна, то другая сторона; терпеливые астрономы на башнях обсерваторий открывали новые звезды и давали им названия; в ярко освещенных театрах шли пьесы; людей уносили в больницы на носилках — шла обычная суeta и волнение человеческой жизни в местах людских скопищ. А наверху, в долине Вилли, только ветер и времена года приносили перемену: рыбы стояли в быстрой реке, птицы кружили в небе, вершины сосен шумели под звездами; надо всем высились громадные горы, а Вилли расхаживал взад и вперед, хлопоча в своей придорожной гостинице, покуда не поседел. Сердце его было молодо и крепко, и если пульс его бился медленнее, он все еще бился сильно и ровно. На обеих щеках у него алел румянец, как на спелом яблоке; он слегка сутулился, но его походка была еще тверда, и мускулистые руки протягивались к каждому с дружеским пожатием. Его лицо покрывали те морщины, которые появляются у людей на свежем воздухе, и, если их как следует рассмотреть, оказываются чем-то вроде постоянного загара: эти морщины делают глупое лицо еще глупее, но такому, как Вилли, с его ясными глазами и улыбающимся ртом, они только придают привлекательность, свидетельствуя о простой и спокойной жизни. Разговор его был полон мудрых пословиц. Он любил людей, и люди любили его. В разгар сезона, когда долина была полна туристов, в беседке Вилли по вечерам начиналось веселье; и его взгляды, казавшиеся странными его соседям, часто вызывали восхищение ученых людей из городов и университетов. И действительно, старость его была самая благородная, и его добрая слава росла день ото дня и дошла до городов на равнине; молодые люди, которые путешествовали летом, собравшись зимой в кафе, рассказывали о Вилли с мельницы и его простой философии. Можете быть уверены, что многие и многие приглашали его к себе, но ничто не могло выманить Вилли из его горной долины. Он только покачивал головой и многозначительно улыбался, покуривая трубку.

— Вы опоздали, — отвечал он, — во мне теперь все мертво: я прожил свою жизнь и давно умер. Пятьдесят лет тому назад вы, быть может, взволновали бы меня до глубины души, а теперь я даже не чувствую соблазна. Но в том и заключается смысл долголетия, чтобы человек перестал дорожить жизнью.

И еще:

— Между хорошим обедом и долгой жизнью только та разница, что за обедом сладкое подадут в конце.

Или еще:

— Когда я был мальчишкой, я еще плохо разбирался и не мог решить, что любопытнее и достойнее внимания: я сам или окружающий мир. Теперь я точно знаю, что я сам.

Он никогда не выказывал никаких признаков нездоровья и до конца оставался крепким и стойким, однако рассказывают, что под конец стал меньше говорить и только слушал других целыми часами, молча и сочувственно улыбаясь. Но если уж заговаривал, то всегда кстати и основываясь на пережитом. Он охотно выпивал бутылку вина, чаще всего на закате или совсем поздно вечером в беседке, при свете звезд. Если он видит что-то недостижимое и влекущее к себе, говаривал Вилли, это только усиливает удовлетворение тем, что у него есть; и он признавался, что прожил достаточно долго и способен больше ценить свечку, когда есть возможность сравнить ее с планетой.

Однажды, на семьдесят втором году жизни, Вилли проснулся среди ночи, чувствуя такую тяжесть на душе и в теле, что он встал, оделся и вышел посидеть и подумать в беседке. Было непроглядно темно; ни единой звезды, река вздулась, мокрые леса и луга наполняли воздух ароматом. Весь день гремел гром, обещая грозу и наутро. Мрачная, удушающая ночь для ста-

рика семидесяти двух лет! Погода ли, бессонница ли тому виной или же небольшая лихорадка в его старом теле, но душу Вилли осаждали тревожные и бурные воспоминания. Его детство, ночной разговор с толстым молодым человеком, смерть приемных родителей, летние дни с Марджори и многие из тех как бы незначительных обстоятельств, которые кажутся со стороны ничтожными, но для самого человека составляют суть жизни – то, что он видел, слышал, прочел в книге и не понял, – вставало из забытых углов, завладевая его вниманием. И мертвецы были вместе с ним, не только принимая участие в призрачном параде памяти, который развевался в его уме, но завладевая его чувствами, как это бывает в самых глубоких и ярких снах. Толстый молодой человек сидел напротив, опираясь локтями на стол, Марджори приходила и уходила из беседки в сад с полным цветов передником; он слышал, как пастор выбивает золу из трубки или сморкается с трубным звуком. Поток сознания то отливал, то приливал; подчас он в полусне погружался в воспоминания прошлого; подчас просыпался и бодрствовал, удивляясь сам себе. Но в середине ночи его разбудил голос старого мельника, позвавшего его из дома, как бывало, когда приезжал постоялец. Зов послышался так ясно, что Вилли вскочил и стал прислушиваться, не повторится ли он; и, прислушиваясь, уловил и новый звук, помимо шума реки и лихорадочного звона в ушах. Похоже было на конский топот, на скрип упряжи, словно карета, запряженная горячими конями, подъезжала ко двору по дороге. В такой час на таком опасном перегоне – это показалось ему маловероятным, и сон снова сомкнулся над ним, словно текущие воды. И еще раз пробудил его зов покойного мельника, еще более отдаленный и призрачный; и еще раз он услышал стук колес на дороге. И так трижды и четырежды один и тот же сон снился ему или одна и та же иллюзия овладевала им, пока наконец, посмеиваясь над собой, как над пугливым ребенком, которого надо успокоить, он направился к воротам, чтобы развеять свою тревогу.

Путь от беседки до ворот был не очень далекий, и все же отнял у Вилли немало времени: ему чудилось, будто мертвецы обступили его во дворе, на каждом шагу преграждая дорогу. Прежде всего он вдруг почувствовал сладкое и сильное благоухание гелиотропов, как будто его сад весь засажен этими цветами от края до края и жаркая, влажная ночь заставила их пролить весь аромат в одном дыхании. Гелиотроп был любимым цветком Марджори, и после ее смерти ни одного гелиотропа ни разу не посадили в его саду.

«Должно быть, я схожу с ума, – подумал он. – Бедняжка Марджори со своими гелиотропами!»

Тут он поднял голову и посмотрел на то окно, которое когда-то было ее окном. Если до сих пор он был только испуган, то сейчас остолбенел от ужаса: в ее комнате горел свет; окно было оранжевое, как когда-то, и уголок занавески был так же приподнят, а потом опущен, как в ту ночь, когда он стоял и зывал к звездам в своем недоумении. Наваждение длилось всего один миг, но расстроило его, и он, протирая глаза, стал смотреть на очертания дома и на черную тьму за ним. Покуда он стоял так – а казалось, что простоял он очень долго, – ему снова послышался шум на дороге, и он обернулся как раз вовремя, чтобы встретить незнакомца, который шел по двору ему навстречу. На дороге за спиной незнакомца ему мерещилось что-то вроде очертаний большой кареты, а над нею – черные вершины елей, похожие на султаны.

– Мастер Вилли? – спросил пришелец по-военному кратко.

– Он самый, сэр, – отвечал Вилли. – Чем могу вам служить?

– Я о тебе много слышал, мастер Вилли, – отвечал тот, – о тебе говорили много и хорошо. И хотя у меня руки полны дел, я все-таки желаю распить с тобой бутылочку вина в беседке. А перед отъездом я скажу тебе, кто я такой.

Вилли повел его в беседку, зажег лампу и откупорил бутылку вина. Нельзя сказать, чтоб он был непривычен к таким лестным визитам, – он ничего не ожидал от этой беседы, наученный горьким опытом. Словно облаком заволокло его мозг, и он забыл о том, что час слишком уж необычный. Он двигался будто во сне, и бутылка откупорилась словно сама собой, и

лампа зажглась как бы по велению мысли. Все же ему любопытно было разглядеть своего гостя, но тщетно старался он осветить его лицо: либо он неловко повертывал лампу, либо глаза его видели смутно, – но только он видел словно тень за столом вместе с собой. Он глядел и глядел на эту тень, вытирая стаканы, и на сердце у него стало как-то холодно и смутно. Молчание угнетало его, ибо теперь он уже ничего не слышал, – даже реки, – ничего, кроме шума в ушах.

– Пью за тебя, – отрывисто произнес незнакомец.

– Ваш слуга, сэр, – отвечал Вилли, отхлебывая вино, вкус которого показался ему странным.

– Я слышал, что ты уверен в себе, – продолжал незнакомец.

Вилли ответил удовлетворенной улыбкой и легким кивком.

– Я тоже, – продолжал незнакомец, – и для меня нет большей радости, чем наступить другому на мозоли. Не хочу, чтобы кто-нибудь был так уверен в своей правоте, кроме меня самого, – ни один человек. В свое время я укрощал прихоти королей, полководцев и великих художников. А что бы ты сказал, если б я приехал только ради того, чтобы укротить тебя? – закончил он.

На языке у Вилли вертелся резкий ответ, но учтивость старого трактирщика пересилила: он смолчал и ответил только вежливым движением руки.

– Да, за тем я и приехал, – сказал незнакомец. – И если б я не питал к тебе особенного уважения, я бы не стал тратить лишних слов. Кажется, ты гордишься тем, что сидишь на одном месте. Не хочешь бросать свою гостиницу. Ну а я хочу, чтобы ты проехался со мной в моей карете; и не успеем мы допить эту бутылку, как ты уедешь.

– Вот это было бы странно, – посмеиваясь, возразил Вилли. – Ну как же, сэр, ведь я здесь вырос и укоренился, наподобие старого дуба, самому дьяволу не вырвать меня с корнями. Я по всему вижу, что вы джентльмен веселого нрава, и держу пари на вторую бутылку, что со мной вы только будете стараться напрасно.

А тьма перед глазами Вилли сгущалась сильнее и сильнее, однако он сознавал, что за ним следят острым и леденящим взором, и это его раздражало, но он был бессилен противиться.

– Не думайте, будто я такой уж домосед, потому что боюсь чего-либо в божьем мире, – словно в лихорадке вырвалось у него так неожиданно, что он испугался и сам. – Богу известно, что я устал жить, и, когда придет время для самого долгого из путешествий, я буду к нему готов – так мне кажется.

Незнакомец осушил свой стакан и отодвинул его в сторону. Он опустил глаза, потом, наклонившись над столом, одним пальцем три раза постучал по плечу Вилли.

– Время настало! – сказал он торжественно.

Ледяная дрожь пронизала тело Вилли, расходясь от того места, до которого тот дотронулся. Звук его голоса был глухой, тревожащий и странно отозвался в сердце Вилли.

– Прошу прощения, – начал он с некоторым замешательством. – Что вы хотите сказать?

– Взгляни на меня – и глаза твои затумянятся. Подними руку: она омертвела. Это твоя последняя бутылка вина, мастер Вилли, и твоя последняя ночь на земле.

– Вы лекарь? – пролепетал Вилли.

– Лучший из лекарей, – ответил тот, – ибо я исцеляю и душу и тело одним снадобьем. Я снимаю всю муку и отпускаю все грехи; и если мой пациент ошибался в жизни, я улаживаю все трудности, освобождаю его и ставлю на ноги.

– Я не нуждаюсь в вас, – сказал Вилли.

– Для каждого человека настает время, мастер Вилли, – возразил ему лекарь, – когда руль забирают из его рук. Для тебя это время пришло поздно, ибо ты был разумен и нетороплив, и у тебя имелся досуг, чтобы подготовиться к его пришествию. Ты видел все, что можно видеть вокруг твоей мельницы: ты сидел всю жизнь смирно, словно заяц в своей норе, но теперь этому

пришел конец, и, – прибавил этот лекарь, поднимаясь с места, – ты должен встать и следовать за мной.

– Станный вы целитель, – произнес Вилли, пристально глядя на гостя.

– Я закон природы, – возразил тот, – и люди зовут меня Смертью.

– Почему же ты не сказал этого с самого начала? – воскликнул Вилли. – Я ждал тебя столько лет! Дай мне руку – и добро пожаловать!

– Обопрись на мое плечо, – сказал тот, – сила твоя уже на исходе. Обопрись как можно крепче, если тебе нужно, я силен, хотя и очень стар. До моей кареты всего три шага, а там кончатся все твои заботы. Да, Вилли, – прибавил он, – я тосковал по тебе, как по родному сыну, и с радостью пришел за тобой, с большей радостью, чем приходил за многими другими людьми все эти долгие годы. Я недобр, а иной раз бывает, что с первого взгляда внушаю отвращение людям, но для таких, как ты, я самый лучший друг.

– С тех пор, как умерла Марджори, – ответил ему Вилли, – клянусь богом, только тебя я и ждал как единственного друга.

И рука об руку они пошли через двор.

Один из работников проснулся в это время и услышал конский топот перед тем, как снова заснуть; всю ту ночь в ущелье словно шумел ветер, стремясь на равнину, а когда все проснулись утром, оказалось, что Вилли с мельницы наконец отправился в дальний путь.

Окаянная Дженет

Его преподобие Мердок Соулис очень долго прослужил пастором на болотах в приходе Болвири, что в долине реки Дьюлы. Суровый старик с холодным и жестким лицом, внушавший страх всем своим прихожанам, последние годы он жил совсем один, без родных и без прислуги, в уединенном пасторском домике, стоявшем на отшибе, близ горы Хэнгин-Шоу. Вопреки железному спокойствию в чертах лица взгляд у него был дикий, испуганный и неуверенный, а в то время, когда он беседовал наедине с кем-либо из прихожан о будущем нераскаянных грешников, казалось, будто этот взгляд проникает сквозь грозы времен в страшные тайны вечности. Многие из молодых людей, что бывали у него, готовясь к причастию, приходили в ужас от его речей. Каждое первое воскресенье после семнадцатого августа он читал проповедь на текст из Первого послания апостола Петра (гл. V, стих 8): «Диавол, аки лев рыкающий...» В этот день он обычно превосходил самого себя, и слушателей пробирал мороз по коже как от самой проповеди, так и от грозной манеры проповедника. Дети пугались до припадков, а старики после проповеди смотрели пророками и весь день беспрестанно намекали на то, против чего так восставал Гамлет. Пасторский домик стоял над водами Дьюлы, в густой сени деревьев; над ним с одной стороны нависала гора Шоу, а с другой – множество вершин подымалось к небу; почти с самого начала пастырского служения мистера Соулиса осторожные люди стали обходить стороной этот дом, особенно в сумерки; а старики, завсегдатаи деревенской пивной, только покачивали головами при одной мысли о том, чтобы пройти поздним вечером мимо такого дома. Собственно, там было одно особенно страшное место. Дом пастора стоял между рекой и большой дорогой; задняя его стена была обращена к небольшому селению Болвири, в полумиле от него, где была церковь; бедный сад перед домом, огороженный терновником, занимал все пространство между рекой и дорогой. Дом был двухэтажный, с двумя большими комнатами в каждом этаже. Выход из него открывался не прямо в сад, а на мощеную дорожку, которая тоже выходила не в сад, а с одной стороны на большую дорогу, с другой же упиралась в высокие ветлы и кусты бузины, окаймлявшие реку. Вот этот-то кусок дорожки и пользовался среди юных прихожан Болвири особенно дурной славой. Священник часто прогуливался там в сумерки, время от времени прерывая молитву без слов громкими стонами; а когда его не бывало дома и дверь оказывалась заперта, самые отчаянные из школьников, играя в салки, отваживались пробегать с сильно бьющимся сердцем через это место, ставшее легендарным.

Такая атмосфера страха, окружавшая слугу божьего, человека с безупречной репутацией и наделенного твердой верой в господа бога, обычно вызывала удивление и любопытство среди немногих чужаков, которых случай или дело приводили в эту глухую и отдаленную местность. Но даже среди прихожан многие не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса, а из тех, кто был осведомлен лучше, одни были молчаливы по природе, другие же боялись касаться этой темы. И только время от времени кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стаканчика, рассказывал о том, почему пастор у них и с виду такой странный и живет отшельником.

Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис только что приехал в Болвири, он был еще совсем молодой, или, как у нас говорили, «сосунок», полный книжной учености: проповеди он читал хорошо, но, как оно и полагается молодому человеку, в делах религии смыслил еще мало. Которые помоложе из прихожан, те очень увлекались его ученостью и умением говорить, а те, что постарше, люди степенные и серьезные, молились за этого молодого человека: им казалось, что он, так сказать, заблуждается на свой счет и приходу это вовсе не на пользу. Это было давно, еще до «умеренных», задолго до них; да ведь все дурное, как и все хорошее, приходит не сразу, а мало-помалу. Находились и такие люди, которые говорили, что Бог покинул университетских

профессоров, а молодежи, чем учиться у них, лучше бы сидеть в торфяной яме, как дельвали деда, когда их преследовали за веру, с Библией под мышкой и с молитвой в сердце. Как бы то ни было, нечего и сомневаться, что мистер Соулис заучился в этом своем университете: он заботился и беспокоился о многом, но только не о том единственном, о чем нужно было беспокоиться. Книг с собой он привез пропасть, у нас в приходе раньше столько и не видавали, и возчику пришлось порядком с ними побиться; он едва не утопил их в болоте между Черной горой и Килмакерли. Книги были все божественные, само собой, так они, во всяком случае, назывались; а люди серьезные держались того мнения, что куда их столько: ведь слово божие можно завязать в маленький уголок платка. И вот наш пастор сидел над этими книгами дни и ночи – а куда же это годится, – все писал да писал, не иначе; сначала боялись, что он будет сам сочинять проповеди, потом оказалось, что он пишет книжку, а это уж совсем неподходящее дело для такого неопытного молодого человека.

Как бы то ни было, ему полагалось взять себе для хозяйства какую-нибудь приличную, хорошего поведения пожилую женщину, она бы ему и обеды готовила. Кто-то ему указал на одну старуху по имени Дженет Макклоур. Он никого толком не расспросил и взял ее в служанки. А ведь многие ему не советовали, потому что эта Дженет была у почтенных людей нашего прихода на дурном счету. Когда-то давным-давно у нее был ребенок от одного драгуна, к тому же она уже больше тридцати лет не ходила к исповеди, и деревенские мальчишки не раз слышали, как она бормочет что-то себе под нос, в сумерки, на вершине горы Киз-Лоан, а ведь и время и место совсем неподходящие для богобоязненной женщины. Надо, однако, сказать, что сам лорд помещик первый указал пастору на Дженет, а в те времена наш пастор сделал бы все, что хочешь, лишь бы угодить помещику. Когда люди ему стали говорить, будто эта самая Дженет связалась с дьяволом, он ответил, что это, на его взгляд, одно суеверие, а когда ему упомянули про Библию и про Эндорскую волшебницу, он сказал, что эти дни давно миновали, а дьявол с тех пор укрощен; все это, мол, сушие предрассудки.

Ну, ладно. Когда по деревне прошел слух, что Дженет Макклоур будет служанкой в пасторском доме, то народ и на нее и на него сильно осердился. Некоторые наши женщины не придумали ничего лучше, как пойти к ее дому и выложить ей вслух все то, в чем ее обвиняли, и все, что про нее было известно – от солдатского младенца до двух коров Джона Томсона. Говорить она была не охотница. Когда люди ее не трогали, она им давала волю болтать сколько хотят, а сама молчок – ни «здравствуйте», ни «прощайте», но уж если, бывало, ее заденут за живое, так язык у нее начинал молотить, что твоя мельница. Вот и тут Дженет взбеленилась (припомнила все старые сплетни и мало ли еще что), они ей слово, а она им два; в конце концов женщины до нее добрались, стащили с нее платье и поволокли по деревне к реке, посмотреть, ведьма она или нет, потонет или выплывет? Шум поднялся такой, что слышно было под Хэнгин-Шоу; сама Дженет дралась за десятерых, и долго после этого, чуть ли не по сию пору, у многих наших женщин видны следы от ее когтей; и как бы вы думали, кто подоспел к самому разгару драки? Новый наш пастор (должно быть, за грехи Бог его наказал).

– Женщины! – крикнул он (а голос у него был зычный). – Заклинаю вас именем Господа, отпустите ее!

Дженет бросилась к нему, едва живая от страха, и стала его молить, Христа ради, чтоб он ее спас от гибели, а женщины тоже не отставали и рассказали ему все, что знали про Дженет, а может, даже и больше того.

– Женщина, – спросил он у Дженет, – правда ли все это?

– Как Господь меня видит, как Господь меня сотворил, ни слова правды тут нету! И про ребенка тоже, – прибавила она. – Я всегда была порядочной женщиной.

– Хочешь ли ты отречься от дьявола и дел его во имя божие передо мной, его недостойным слугою?

Что ж, надо прямо сказать: когда пастор ее спрашивал, она так ухмыльнулась, что всех, кто это видел, бросило в дрожь от страха и всем было слышно, как зубы у нее застучали друг об дружку; но ничего иного ей делать не оставалось, и Дженет, подняв кверху руку, отреклась от дьявола и от дел его перед всеми.

– А теперь, – сказал мистер Соулис, – идите по домам, все до одной, и будем молить Бога, чтоб он помиловал нас.

Он подал Дженет руку, хоть из одежды на ней мало что оставалось, кроме рубахи, и повел по деревне к ее собственному дому, будто леди помещицу; а она визжала и хохотала так, что совестно было слушать.

В ту ночь многие почтенные люди долго молились перед сном, а когда наступило утро, такой страх одолел весь приход Болвири, что детишки попрятались и даже взрослые мужчины не решались выйти за дверь. По улице шла Дженет – она или ее подобие, – никто не мог бы сказать наверное: шея у нее была свернута, голова скривилась набок, словно у висельника, и на лице усмешка, словно у трупа, еще не снятого с виселицы. Мало-помалу люди к этому пригляделись и даже стали спрашивать у нее, что такое с ней случилось, но с этого дня она уже не могла говорить, как подобает христианке, а только пускала слюни да стучала зубами, словно ножницами; и начиная с этого дня ни разу ее уста не произнесли имени божьего. Когда она хотела его выговорить, ничего у нее не выходило: видно, ей было невозможно назвать имя божье. Кто знал, в чем тут дело, помалкивал, но уж больше никто не называл эту тварь именем Дженет Макклоур, ибо прежняя Дженет, как все думали, давно была в аду кремешном. Но ведь пастору не прикажешь и рот ему не заткнешь, а он только и твердил в своих проповедях, что о жестокости людской, которая будто бы довела Дженет до паралича, бранил мальчишек, которые ее дразнили и приставали к ней, и в тот же самый вечер взял ее к себе, и стали они жить вдвоем в пасторском доме под горой Хэнгин-Шоу.

Ну, ладно, прошло после этого довольно много времени, и люди праздномыслящие начали было смотреть на это сквозь пальцы и стали даже забывать о том черном деле. О священнике все были теперь самого хорошего мнения: по вечерам он долго сидел за своим писанием. Люди видели, что свеча у него в доме, на берегу Дьюлы, горит и за полночь, и сам он как будто был доволен собой и держался так же, как и прежде, хотя всякому было видно, что он теперь стал совсем не тот. А что касается Дженет, так она свободно расхаживала всюду, и если она и раньше говорила мало, то теперь и подавно; правда, она никого не трогала, только смотреть на нее было страшно, и все у нас в Болвири удивлялись, как это ей доверили пасторский дом.

К концу июля настала такая погода, какой отродясь не видывали в наших местах: стояла жара, жестокая, гнетущая жара. Стада обессилели и не могли взобраться по склону Черной горы, дети не могли играть и скоро уставали, а к тому же порывы горячего ветра шумели в листве, и временами налетал дождь, но не освежал нисколько. Каждый день мы думали, что к утру, должно быть, соберется гроза, но наступило одно утро и другое утро, а погода была все та же, ни на что не похожая, тяжкая для людей и животных. Из нас никто так не страдал от жары, как мистер Соулис: он не мог ни спать, ни есть – так он говорил церковному совету, – и если он не писал свою книжку, то бродил по окрестностям словно одержимый, и это в такое время, когда все были рады сидеть дома, в прохладе.

Поблизости от Хэнгин-Шоу, там, где поднимается Черная гора, есть у нас одно огороженное место с этакой чугунной решеткой: в старые времена там как будто было кладбище прихода Болвири, основанное папистами еще до того, как свет господень озарил наше королевство. Сад был большой и, во всяком случае, подходящий для мистера Соулиса: в нем он, бывало, сидел и обдумывал свои проповеди, да и вправду там всегда было пустынно и тихо. Вот сидит он однажды на обрыве Черной горы и видит сначала двух, потом четырех, а там и семерых воронов, они все летают да летают вокруг старого кладбища. Летали они низко и

тяжело и на лету каркали: мистер Соулис понял, что они чего-то испугались и слетели с деревьев. Пастор наш был не робкого десятка, взял да и пошел прямо туда, и как бы вы думали, что он увидел? Внутри ограды, на могиле, сидел кто-то – то ли человек, то ли одна видимость человека. Высокого роста, черный как ад, и глаза какие-то очень странные. Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных людях; но в этом черном человеке было что-то такое, от чего и пастора бросило в дрожь. Как ни жарко было, его проняло холодом до мозга костей, но он все-таки заговорил с ним и спросил:

– Друг мой, вы как будто нездешний?

Черный человек ничего ему не ответил, а вскочил на ноги и, хромая, отбежал к дальней стене кладбища; однако он все оглядывался на пастора, а тот стоял и глядел ему вслед до тех пор, пока черный человек, перебравшись через стенку кладбища, не побежал к березовой роще. Мистер Соулис, сам не зная для чего, побежал за ним; но он уже устал от ходьбы, да и погода была жаркая, нездоровая, и сколько он ни старался, а все не мог подобраться поближе к черному человеку; тот только мелькнул раза два среди берез и наконец спустился с горы вниз. А внизу священник увидел его еще раз: хромая и ковыляя, он перешел через реку и направился к пасторскому домику.

Мистеру Соулису не очень-то понравилось, что это страшилище так вольно ведет себя в пасторских владениях; он зашагал быстрее, тоже перебрался через поток и помчался вверх по садовой дорожке, но дьявола, или черного человека, уже нигде не было видно. Пастор вышел на большую дорогу, осмотрелся, но и там никого не было; обошел весь сад кругом – нет нигде черного человека! Прошел он весь сад до конца и не без опасения, что было вполне естественно, приподнял дверную щеколду и вошел к себе в дом – и тут как тут перед ним встала Дженет Макклоур со своей кривой шеей, как будто не слишком довольная тем, что пастор вернулся домой. А его самого, как только он увидел Дженет, вновь пронизал могильный холод.

– Дженет, – спросил пастор, – не видели вы черного человека?

– Черного человека? – отозвалась она. – Упаси боже! Да что вы, пастор! Сколько ни ищи, а у нас в Болвири не сыщешь черного человека.

Но она это говорила не как все люди, а сами можете себе представить как: словно лошадь, которая грызет удила.

– Ну что ж, Дженет, – сказал пастор, – если здесь не было черного человека, значит, я говорил с врагом рода человеческого.

И сел, а сам весь дрожит словно в лихорадке, и зубы у него застучали.

– Пустяки! Как только вам не совестно, пастор? – сказала Дженет и дала ему глоточек бренди, которое у нее всегда водилось.

После этого мистер Соулис сейчас же ушел к себе в кабинет, где у него было очень много книг. Комната была длинная, темная, зимой в ней было холодно, как в могиле, и даже в разгаре лета сыро, оттого что пасторский дом стоял у самой реки. Вот он сел и стал думать обо всем, что случилось в Болвири за то время, что он здесь живет; вспомнился ему родной дом и те дни, когда он был еще мальчишкой и бегал по лесам и лугам, а этот черный человек все не выходил у него из головы, словно припев какой-то песни. И чем больше он думал, тем больше ему думалось про черного человека. Он попробовал молиться, да слова никак не шли у него с языка; говорят, пробовал он и писать свою книгу, но и это ему не удалось. Временами ему казалось, что черный человек стоит рядом, и тогда он весь покрывался потом, холодным, как колодезная вода, а временами приходил в чувство и помнил обо всем этом не больше, чем новорожденный младенец.

Наконец пастор подошел к окну и долго стоял перед ним, глядя на воды Дьюлы. Деревья там растут очень густо, а вода возле пасторского домика глубокая и черная; смотрит он и видит, что Дженет полощет белье на берегу, подоткнув юбку. Она стояла спиной к пастору, и он даже не очень видел, что перед ним. Но вот она обернулась, и он увидел ее лицо. Мистера

Соулиса снова пробрала та же холодная дрожь, что пробирала его дважды за этот день, и ему вспомнилось, как люди болтали, будто Дженет давным-давно умерла и сам дьявол вселился в ее холодное как лед тело. Пастор отступил немного назад и начал ее пристально разглядывать. Она топтала ногами белье и что-то про себя напевала, и – боже ты мой милостливый, спаси нас! – какое страшное было у нее лицо! Временами она начинала петь громче, но ни один человек, рожденный женщиной, не мог бы понять ни единого слова из ее песни; а иногда начинала поглядывать искоса куда-то вниз, хоть смотреть там было не на что. Омерзение пронизало пастора до самых костей... И это было ему предостережением свыше! Но мистер Соулис все-таки винил одного только себя: как можно думать так дурно о несчастной, свихнувшейся женщине, у которой никого не было, кроме него. Он помолился за нее и за себя, и выпил холодной воды – еда ему была противна, – и лег на голые доски своей кровати; наступили уже сумерки.

Эта ночь была такая, какой не запомнят в приходе Болвири: ночь на 17 августа 1712 года. Днем все стояла жара, как мы уже говорили, но в эту ночь было особенно жарко и душно: солнце село в зловещие тучи, и сразу стало темно, как в яме; ни звездочки, ни ветерка; в темноте не было видно собственной ладони перед лицом, и даже старые люди сбрасывали с себя простыни и лежали на своих постелях, задыхаясь от жары. Со всем тем, что было у пастора на душе, немудрено, что ему не спалось. Он то лежал неподвижно, то метался в кровати; чистая, прохладная постель словно прожигала его насквозь; он то засыпал, то просыпался; то слышал бой церковных часов, то вой собаки на болоте, словно перед чьей-то смертью; иной раз ему казалось, что по комнате бродят призраки, а может, он видел и чертей. Уж не заболел ли он, так ему подумалось; да он и вправду был болен, но не болезнь его пугала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.